

Песни на деревне. Лев Николаевич Толстой [tolstoyleo.ru](http://tolstoyleo.ru)  
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке  
<http://tolstoyleo.ru/> приятного чтения!

Песни на деревне. Лев Николаевич Толстой

Голоса и гармония были слышны точно рядом, но за туманом никого не было видно. Был будний день, и потому песни поутру сначала удивили меня.

«Да это, верно, рекрутов провожают», – вспомнил я бывший на-днях разговор о том, что пятеро назначено из нашей деревни, и пошел по направлению к невольной притягивающей к себе веселой песне. Когда я подходил к песенникам, песня и гармония затихли. Песенники, то есть провожаемые ребята, вошли в каменную, двухсвязную избу, к отцу одного из призываемых. Против дверей стояла небольшая кучка баб, девушек, детей. Пока я расспрашивал у баб, чьи да чьи ребята идут и зачем они зашли в избу, из двери вышли сопровождаемые матерями и сестрами и сами молодые ребята. Их было пятеро: четверо холостых, один женатый. Деревня наша под городом, и почти все призывные работали в городе и были одеты по-городски, очевидно в самые лучшие одежды: пиджаки, новые картузы, высокие щегольские сапоги. Естественно, больше других бросался в глаза невысокий, хорошо сложенный парень, с милым, веселым, выразительным лицом, с чуть пробивающимися усиками и бородкой и блестящими карими глазами. Как только он вышел, он тотчас же взялся за большую дорожную гармонику, висевшую у него через плечо, и, поклонившись мне, тотчас же, быстро перебирая клавиши, заиграл веселую «барыню» и, в самый раз такта, бойко, отрывисто шагая, тронулся вдоль улицы.

Рядом с ним шел тоже невысокий, коренастый белокурый малый. Он бойко поглядывал по сторонам и лихо подхватывал второй голос, когда запевало выводил первый. Это был женатый. Эти двое шли впереди. Остальные же трое, так же хорошо одетые, шли позади их и ничем особенным не выделялись, разве только тем, что один из них был высок ростом.

Я шел с толпой за парнями. Песни всё были веселые, и во время шествия не было никаких выражений горя. Но как только подошли к следующему двору, в котором должно было также быть угощение, и остановились, так началось вытье женщин. Трудно было разобрать, что они причитали. Слышны были только отдельные слова: смеретушка... отца матери... родиму сторонушку... И после каждого стиха голосащая, втягивая в себя воздух, заливалась сначала протяжными стонами, а потом закатывалась истерическим хохотом. Это были матери, сестры уходивших. Кроме голошения родственниц, слышны были уговоры посторонних. «Да будет, Матрена, я чай, уморилась», – услышал я слова одной женщины, уговаривавшей голосащую.

Парни вошли в избу, я остался на улице, разговаривая с знакомым крестьянином Васильем Ореховым, бывшим моим школьником. Сын его был один из пятерых, тот самый женатый парень, который шел, подпевая подголоском.

– Что же? жалко? – сказал я.

– Что же делать? Жалей не жалей, служить надо.

И он рассказал мне всё свое хозяйственное положение. У него было три сына: один был дома, другой был этот уходивший в солдаты, третий жил, так же как и второй, в людях и хорошо подавал в дом. Этот же уходивший, очевидно, был плохой подавальщик. «Жена городская, к нашему делу не годится. Отрезанный ломоть. Только бы сам себя кормил. Жалко-то жалко. А что же поделаешь».

Пока мы говорили, парни вышли из дома на улицу, и опять началось голошение, взвизги, хохот, уговоры. Постояв у двора минут пять, тронулись дальше, и опять гармоника и песни. Нельзя было не дивиться на энергию, бодрость игрока, как он верно отбивал темп, как притопывал, останавливаясь, как замолкал и потом в самый раз подхватывал развеселым голосом, поглядывая кругом своими ласковыми карими глазами. У него, очевидно, было настоящее и большое музыкальное дарование. Я смотрел на него, и когда мы встречались с ним глазами, – так по крайней мере мне казалось, – он как будто смущался и, двинув бровью, отворачивался и еще бойчее заливался. Когда подошли к пятому, последнему двору и ребята вошли в дом, я вошел за ними. Парней всех пятерых усадили за убранный скатертью стол. На столе были хлеб и вино. Хозяин, тот самый, с которым я говорил и который провожал женатого сына, наливал и подносил. Ребята почти ничего не пили, отливали не больше четверти стаканчика, а то только пригубливали и отдавали. Хозяйка резала

Песни на деревне. Лев Николаевич Толстой [tolstoyleo.ru](http://tolstoyleo.ru)  
ковригу и подавала закусывать. Хозяин подливал стаканчики и обносил. В то время, как я смотрел на парней, с печки, подле самого того места, где я сидел, слезла женщина в самой показавшейся мне неожиданной и странной одежде. На женщине было светлозеленое, кажется шелковое, платье с модными украшениями, на ногах были ботинки с высокими каблучками, белокурые волосы были причесаны по-модному, и в ушах были большие золотые серьги-кольца. Лицо женщины было не грустное и не веселое, но как будто обиженное. Она сошла на пол, бойко постукивая своими, с высокими каблучками, новыми ботинками, не глядя на ребят, вышла в сени. Всё в этой женщине: и ее одеяние, и ее обиженное лицо, и в особенности серьги – всё было так чуждо всему окружающему, что я никак не мог понять, кто она могла быть и зачем попала на печку в избу Василья. Я спросил у сидевшей рядом со мною женщины, кто она.

– Сноха Васильева. Из горничных она, – отвечали мне.

Хозяин стал наливать в 3-й раз, но парни отказались от угощения, встали, помолились поблагодарили хозяев и вышли на улицу. На улице тотчас же опять заголосили. Первая заголосила вышедшая за парнями очень старая, сгорбленная женщина. Она так особенно жалостно голосила, так закатывалась, что бабы не переставая уговаривали ее и подхватывали под локти воющую, закатывающуюся и падающую вперед старуху.

– Кто это? – спросил я.

– Да бабка его. Василью мать, значит.

Как только старуха истерически захохотала и повалилась на руки поддерживающим ее бабам, шествие тронулось дальше, и опять залились гармония и веселые голоса.

На выходе из деревни подъехали телеги, чтобы везти призывных до волости, и все остановились. Воя и плача больше не было. Гармонщик же всё больше и больше расходился. Он, согнув голову набок и установившись на одной ноге и вывернув другую, постукивал ею, руки же выводили частые, красивые фьеритуры, и как раз, где надо было, подхватывал песню его бойкий, высокий, веселый голос и приятный подголосок Васильева сына. И старые, и молодые, и в особенности окружавшие толпу ребята, и я в том числе, – все мы, не спуская глаз, смотрели на певца, любясь им.

– И ловок же, бестия! – сказал кто-то из мужиков.

– Горе плачет, горе песенки поет.

В это время к песеннику подошел энергическим, большим шагом тот из провожаемых парней, который был особенно высокого роста. Нагнувшись к гармонисту, он что-то сказал ему.

«Какой молодчина, – подумал я. – Этого уже верно зачислят куда-нибудь в гвардию». Я не знал, чей он, из какого двора.

– Чей этот? – спросил я, указывая на молодцеватого парня, у невысокого старичка, подходившего ко мне.

Старичок, сняв шапку, поклонился мне, но он не расслышал мой вопрос.

– Чего говорите?

В первую минуту я не узнал его, но как только он заговорил, я тотчас же вспомнил работающего, хорошего мужика, который, как часто бывает, как бы на подбор, подпадал под одно несчастье после другого: то лошадей двух увели, то сгорел, то жена померла. Не узнал я его в первую минуту потому, что, давно не видав его, помнил Прокофия красно-рыжим и среднего роста человеком, теперь же он был не рыжий, а седой и совсем маленький.

– Ах, это ты, Прокофий, – сказал я. – Я спрашиваю: чей этот молодец, вот что подходил к Александру?

– Этот? – повторил Прокофий, указывая движением головы на высокого парня. Он качнул головой и прошамкал какое-то слово, я не разобрал что.

– Я говорю: чей малый? – переспросил я и оглянулся на Прокофия.

Лицо Прокофия сморщилось, скулы задрожали.

– Мой это, – проговорил он и, отвернувшись от меня и закрывая лицо рукою, захлюпал, как ребенок.

И только теперь, после этих двух слов Прокофия: «мой это», я не одним рассудком, но всем существом своим почувствовал весь ужас того, что происходило передо мною в это памятное мне туманное утро. Всё то разрозненное, непонятное, странное, что я видел, – все вдруг получило для меня простое, ясное и ужасное значение. Мне стало мучительно стыдно за то, что я смотрел на это, как на интересное зрелище. Я остановился и с сознанием совершенного дурного поступка вернулся домой.

И подумать, что всё это совершается теперь над тысячами, десятками тысяч людей по всей России и совершалось и будет долго еще совершаться над этим кротким, мудрым, святым и так жестоко и коварно обманутым русским народом.

Лев Толстой.

8-го ноября 1909 г.

Ясная Поляна.

ПЛАНЫ И ВАРИАНТЫ  
ПЕСНИ НА ДЕРЕВНЕ  
\* № 1 (рук. № 1).

Было осеннее, пасмурное, туманное, безветренное утро. С деревни была слышна разлихая песня многих голосов под бойкую игру гармонии. Голоса и гармония были слышны точно рядом, но за туманом никого не было видно. Был будний день, и потому песни поутру сначала удивили меня.

Да это, верно, рекрутов провожают, – вспомнил я бывший на днях разговор о том, что пятеро назначено из нашей деревни, и пошел по направлению к невольной притягивающей к себе развеселой песне. Пели на деревне. Но когда я подошел к [1] песенникам, песня и гармония затихли. У каменной двухсвязной избы на проулке стояла небольшая кучка баб, девок, детей и два или три мужика. Песенники, то есть провожаемые ребята, вошли в [2] избу к отцу одного из провожаемых. Пока я расспрашивал у баб, чьи да чьи ребята идут, и зачем они зашли к Прохору, из избы вышли сопровождаемые <отцами>, матерями и сестрами и сами молодые ребята. Так, как и говорили, их было пятеро: четверо холостых, один женатый. Деревня наша под городом, и почти все призывные были городские и, очевидно, одетые, как на праздник, в самые лучшие одежды – пиджаки, новые картузы, высокие щегольские сапоги. Невольно заметил я особенно троих: первого правнука [3] хорошо знакомого мне хозяйственного старика-пчеловода. Это был один из лучших дворов в деревне в мое время, и все три поколения были такие же, как прадед: порядочные, честные, трудолюбивые и уважаемые люди. Правнук этот, «Александра», был невысокий, хорошо сложенный парень с милым, веселым, выразительным лицом, с чуть пробивающимися [ся] усиками и бородкой. Как только он вышел, он тотчас же взялся за большую дорогую гармонику, висевшую у него через плечо, и, весело поклонившись мне, тотчас же заиграл веселую «барыню», в такт, в самый раз шагая бойкими, притопывавшими шажками. Другой невольной бросался в глаза своим могучим телосложением: высокий, широкий, так же, как и все, чисто одетый – он обращал на себя внимание еще и тем серьезным, строгим выражением [4] молодого, чистого, умного лица. Он шел большими шагами позади песенников, опустив голову и только изредка взглядывая на кучу баб, шедших и рядом и позади ребят. Там, как я после узнал, была его мать. Третий был невысокий, коренастый малый, так же хорошо, даже лучше всех одетый, [5] особенно развязно поглядывавший по сторонам и бойко подхватывавший второй голос, когда запевало выводил первый. Этот был женатый. Другие два ничем особенным не отразились в моей памяти.

Когда я подошел к проводам, парни заходили уже во второй двор. По обычаю заходили для угощения вином ко всем тем, от кого шли парни в солдаты. С песнями парни прошли от 2-го двора до 3-го. Песни все были веселые, и, хотя лица большинства женщин были печальные, не было никаких выражений горя. Но как только

Песни на деревне. Лев Николаевич Толстой [tolstoyleo.ru](http://tolstoyleo.ru)  
подошли к 4-му двору, в котором должно было быть угощение, и остановились, так началось вытьё и голошение женщин. Трудно было разобрать, что они причитали. Слышны были только отдельные слова: на кого, родимый, оставляешь... Смертушка не берет... Отца-матери... Покидаешь родиму сторонушку... И после каждого стиха голосащая заливалась странными и страшными звуками, втягивая в себя воздух, и потом закатывалась истерическим хохотом, и потом опять, несмотря на уговоры других женщин, опять начинала голосить. – Да будет, Матрена. Я чай, уморилась – говорили ей. И одна кончала, начинала другая. Парни вошли в избу, я остался на улице, разговаривая со знакомым, бывшим моим школьником, крестьянином. Сын его был один из пятерых, тот самый коренастый парень, который шел женатым. Крестьянин этот был зажиточный. У него оставалось еще два сына подавальщика. Кроме того, шедший в солдаты женился в городе на горничной, и отец не надеялся уже на него – отрезанный ломоть – какая уже от него работа. Только бы сам себя кормил. Жалко-то жалко. А что же поделаешь.

Пока мы говорили, ребята вышли и из 4-го двора, и опять гармошка, потом голошение, взвизги, хохот и опять гармоника. Сначала постояли, потом тронулись. Нельзя было не дивиться на энергию, бодрость певца и игрока, как он верно отбивал темп, как притопывал, останавливаясь, как замолкал и потом в самый раз подхватывал голосом, <развеселыми глазами поглядывая кругом>. У него, очевидно, настоящее и большое музыкальное дарование. Мы встретились с ним глазами, и эта веселость особенно не только жалка, но страшна была. И когда он взглядывал на меня – так, по крайней мере, мне показалось, – он видел, что я понимаю его веселость, скрывающую хуже чем горе – отчаяние, он отворачивался и еще бойчее заливался. В 5-й и последний двор я вошел вслед за ребятами. Парни, и одни они уже, сидели за убраным скатертью столом. На столе были хлеб и вино. Хозяин, тот самый крестьянин, у которого сын был женатый, наливал и подносил. Ребята почти ничего не пили, только пригубливали и отдавали. Хозяйка резала ковригу и подавала закусывать. Раза два так обошли всех стаканчиками. В то время, как я смотрел на парней, с печки, подле самого того места, где я сидел, слезла женщина, скорее «дама», а не женщина, в модном платье, что-то было шелковое, какие-то прошивки, больше же всего бросались в глаза большие золотые серьги-кольца в ушах. Лицо женщины было не веселое и не грустное, но как будто обиженное. Она сошла на пол своими, с каблукками, новыми ботинками и вышла наружу. Я никак не мог понять, кто могла быть эта женщина. Всё ее одеяние, в особенности серьги и обиженное лицо было так чуждо всему окружающему, как было бы чуждо появление мужика в лаптях в светской гостиной. Это была та жена призываемого, сноха, про которую свекор говорил мне, что она не работница, отрезанный ломоть. Парни отказались от угощения, встали, помолились, поблагодарили хозяев и вышли на улицу. Опять вытьё, голосование, опять гармоника и опять вытьё, особенно мучительное, так что бабы вдали покачивали головами, а вблизи стоявшие подхватили воющую и закатившуюся бабу под локти и отвели в сторону.

– кто это?

– Да Александрина мать.

Это была мать песенника. Не доходя 5-го двора, шествие остановилось, подъехали телеги, чтоб везти призывных до волости. У телег особенно бойко разошелся Александра. Он, согнув голову на бок, и установившись на одной ноге, и вывернув другую, и постукивая ею, выводил такие залихватские выкрики под гармонию, что ребята, окружавшие толпу, не спуская глаз, смотрели на певца, любуясь им. На меня же он не взглянул ни разу, несмотря на то, что я смотрел только на него.

– И ловок же, бестия! – сказал кто-то из мужиков.

– Горе плачет, горе песенки поет.

Со мной поровнялся в это время маленький, худенький старичок, в лаптях и прорванном на боку зипунишке. Он поздоровался со мной. Я, не узнавая его, спросил: кто он.

Он не сказал, как бы сказал всякий старый знакомый на мой вопрос, не сказал: али не узнаешь, а сказал:

– я-то? – Прокофий я.

Песни на деревне. Лев Николаевич Толстой [tolstoyleo.ru](http://tolstoyleo.ru)  
И я тотчас же вспомнил работящего, хорошего рыжего мужика, который, как часто бывает, как бы на подбор подпадал под одно несчастье после другого: то лошадей двух увели, то сгорел, то жена померла. Я не узнал его особенно потому, что, давно не видав его, помнил Прокофья красно-рыжим и среднего роста человеком; теперь же он был не рыжий, а с седой коротенькой бородкой и сделался маленьким, сгорбленным человечком.

– А, Прокофий. Как же, – сказал я и опять стал смотреть на парней.

К[6] возчику подъехавшей телеги подошел один из парней, тот высокий, сильный человек с строгим, серьезным лицом, которого я заметил с самого начала. Я не знал, кто он, из какого двора.

– А этот чей? – спросил я у остановившегося подле меня Прокофия.

– Это-то? – сказал Прокофий, и голос его задрожал. – Мой это, – проговорил Прокофий <i> зарыдал, как старая баба.

<И мне стало совестно смотреть на это ужасное зрелище. Если можешь что-нибудь сделать для того, чтобы не было этого ужаса, то делай, а не можешь, то не смотри на это, а иди домой.>

Сын его взглянул на отца, и умное лицо его стало еще серьезнее, и тотчас же отвернулся. И мне стало мучительно тяжело и стыдно, и я повернулся и ушел домой.

5 ноября.

Комментарии В. С. Спиридонова

ИСТОРИЯ ПИСАНИЯ И ПЕЧАТАНИЯ

Очерк «Песни на деревне» был написан Толстым под впечатлением проводов 22 октября 1909 г. яснополянских новобранцев (см. Дневник, т. 57, стр. 157).

К работе над очерком Толстой приступил 5 ноября. В этот день он записал в Дневнике: «Написал впечатление отправляемых рекрутов – слабо» (т. 57, стр. 166). Толстым был написан очерк целиком (см. описание рук. № 1 и вариант № 1).

Эта первая редакция очерка на следующий день подверглась значительной переработке. В Дневнике 7 ноября Толстой отметил: «Вчера утром.... поправлял Рекрутов. Вышло порядочно. Вечер тоже занимался.... Рекрутами» (т. 57, стр. 167). Судя по помете переписчицы на обложке рукописи № 2, Толстой правил «Рекрутов» и 7 ноября (см. описание рук. 2). Последние исправления были сделаны Толстым 8 ноября, когда он дал очерку и окончательное заглавие, отметив в Дневнике: «Поправил «Песни на деревне» (т. 57, стр. 168).

Впервые очерк «Песни на деревне» был напечатан в «Юбилейном сборнике Литературного фонда» (СПб. 1910), куда, по словам редактора этого сборника С. А. Венгерова, передал его «непосредственно» сам Толстой.

В настоящем издании очерк печатается по тексту сборника, с исправлением опечаток и нескольких ошибок, сделанных машинисткой, по рукописи № 1.

ОПИСАНИЕ РУКОПИСЕЙ

1. Автограф. 3 лл. большого почтового формата и 1 л. среднего почтового формата, исписанных с обеих сторон. Заглавия нет. Начало: «Накануне говорили в доме о том». Конец: «И я повернулся и ушел домой». Под текстом дата: «5 ноября».

Публикуется в вариантах под № 1.

2. Машинописная копия (с ошибками) автографа, с большой авторской правкой. Первоначально содержала 8 лл. 4°. После переработки и дополнений рукопись составила из 9 лл. 4°, 1 л. среднего почтового формата (автограф) и 2 отрезков. Рукопись заключена в обложку, третья страница которой занята автографом-вставкой. На первой странице обложки рукой переписчицы помечено: «Черновые 7 ноября 09 г.». Заглавия нет. Начало: «<Было осеннее, пасмурное, туманное>». Конец: «и обманутым русским народом».

3. Машинописная копия (с ошибками) предыдущей рукописи. 10 лл. 4°. Заглавие рукой переписчицы: «Песни на деревне». На обложке рукой неизвестного помечено:

Песни на деревне. Лев Николаевич Толстой [tolstoyleo.ru](http://tolstoyleo.ru)  
«Песни на деревне. Черновик. Октябрь 1909 г.», затем «октябрь» красным карандашом переправлен на «ноябрь». Авторские исправления многочисленны по всей рукописи. Последняя редакция очерка.

#### ПРЕДИСЛОВИЕ К ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОМУ ТОМУ

В 37-м томе Полного собрания сочинений Л. Н. Толстого продолжается публикация его произведений, написанных в последние годы жизни. Здесь помещены относящиеся к 1906–1910 гг. художественные произведения, статьи, очерки.

Для правильной оценки включенных в этот том произведений следует учитывать систему взглядов Толстого в целом, в их совокупности, во всей сложности переплетения сильных и слабых сторон. Эти взгляды выражены не только в произведениях Толстого, но также в его дневниках и письмах, в которых читателю раскрывается потрясающая картина мучительных переживаний, вызванных у писателя все более и более ухудшавшимся положением народа, политической реакцией в стране, поисками пути изменения действительности и полным непониманием единственно возможного пути – революционной борьбы.

Годы, к которым относятся публикуемые в 37-м томе произведения, это годы безудержного террора, которым царское правительство стремилось задушить революционную борьбу. Истекающая кровью страна была покрыта виселицами, тюрьмы были переполнены, всякие проявления революционного протеста жестоко карались. Либеральная буржуазия, с ликованием встретившая поражение революции 1905–1907 гг., всемерно помогала самодержавию обманывать народ. Обнищание масс дошло до предела. Но гнев народа не мог быть подавлен никакими репрессиями и нарастал с каждым днем. Настроения пассивизма, непротивления, выражавшие слабые стороны взглядов крестьянства и нашедшие отражение и во взглядах Толстого, стали постепенно изживаться в массах под могучим влиянием пролетарской революционной борьбы и уроков первой русской революции.

Вся эта совокупность условий русской жизни нашла отражение и в эволюции Толстого, писателя, который переживал народные бедствия с такой силой, что страдания крестьянства стали его собственными страданиями. [7]

В последний период жизни Толстой, при всех кричащих противоречиях своих взглядов, при всей интенсивности пропагандирования реакционной теории непротивления злу, не только не перестал быть обличителем существовавшей политической системы, но сам все отчетливее осознавал свой гражданский долг писателя, срывающего с правящей верхушки и эксплуататорских классов все и всяческие маски.

Великая роль Толстого–обличителя с особенной силой стала очевидной в 1908 г., когда все передовое человечество отметило восьмидесятилетие со дня его рождения. Всемирно-историческое значение Толстого тогда получило оценку от имени революционной России в статье Ленина «Лев Толстой, как зеркало русской революции». Ленин охарактеризовал взгляды гениального художника как отражение силы и слабости крестьянской революционности в эпоху 1861–1904 гг. Он с гордостью писал о Толстом как страстном обличителе существовавшей системы, беспощадном критике эксплуатации и рабства, враге самодержавия, выразителе настроений широчайших масс крестьянства. И в то же время Ленин учил отделять в творчестве Толстого то, что принадлежит будущему, от того, что ушло в прошлое. Великий вождь пролетариата указал на опасность, которую представляло для судеб русской революции «толстовское непротивление злу, бывшее серьезнейшей причиной поражения первой революционной кампании». [8]

Трудовой народ в приветствиях, посланных Толстому в связи с юбилеем, выразил свою горячую любовь и благодарность за его самоотверженную деятельность обличителя и критика. Так, в послании рабочих Балтийского судостроительного завода говорилось:

«Из душных мастерских завода мы, люди тяжелого труда и тяжелой доли, сыновья одной с Вами несчастной родной матери, шлем Вам привет, чтя в лице Вашем национального гения, великого художника, славного и неутомимого искателя истины. Мы, русские рабочие, гордимся Вами как национальным сокровищем, и лишь хотели бы, чтобы и могучему созидателю новой России – рабочему классу – природа дала своего Льва Толстого».

И в то же время своей обличительной деятельностью Толстой вызывал острую

Песни на деревне. Лев Николаевич Толстой [tolstoyleo.ru](http://tolstoyleo.ru) ненависть царского правительства, правящих классов, церкви. Реакционная пресса все более усиливала погромную травлю писателя, либералы в своих лживо-лицемерных писаниях грубо извращали сущность его творчества. Царское правительство всеми силами пыталось (как откровенно признала официозная газета «Россия») пресечь «стремления придать почитанию гр. Толстого характер общественного сочувствия его деятельности, направленной против православной веры, против государства и государственных установлений». [9] Разгул черносотенной травли дошел до таких пределов, что Иоанн Кронштадтский сочинил «молитву» о скорейшей смерти Толстого, а епископ Гермоген опубликовал «архипастырское обращение», содержащее отъявленные ругательства по адресу писателя.

Однако никакая травля не могла остановить обличительную деятельность Толстого. До конца своих дней он остался верен своему убеждению в том, что необходимо неустанно «обличать богатых в их неправде и открывать бедным обман, в котором их держат». [10] Еще в 1890-х гг., в связи с преследованиями за статью «О голоде», он писал: «Я пишу, что думаю, и то, что не может нравиться ни правительству, ни богатым классам... и пишу не нечаянно, а сознательно...» [11] О том, что он не прекратит обличений существующих порядков, несмотря ни на какие репрессии, Толстой открыто заявил правительству в статье «По поводу заключения В. А. Молочникова» (1908).

Но, как отметил Ленин, «противоречия в произведениях, взглядах, учениях, в школе Толстого – действительно кричащие». [12] Замечательно сильный, искренний протест, гениальные обличения социальной несправедливости и лжи сочетались в деятельности писателя с проповедью нравственного самоусовершенствования, всепрощения, с надеждами на возможность отказа власти имущих от зла, их перевоспитания и т. д. Толстой – «горячий протестант, страстный обличитель, великий критик обнаружил вместе с тем в своих произведениях такое непонимание причин кризиса и средств выхода из кризиса, надвигавшегося на Россию, которое свойственно только патриархальному, наивному крестьянину, а не европейски-образованному писателю». [13]

Противоречивость взглядов Толстого со всей отчетливостью выразилась и в одном из самых лучших его публицистических произведений – статье «Не могу молчать» (1908).

Эта статья, вызванная все возрастающим столыпинским террором, имела огромный резонанс. Мировое общественное мнение высоко оценило протест великого писателя против массовых казней революционеров и восставших крестьян. Несмотря на то, что «Не могу молчать» было напечатано за границей и могло появиться в России легально только в отрывках, этот, как тогда говорили, «манифест Толстого» получил большую известность.

Как следует из Дневника Толстого, непосредственным поводом к написанию статьи явились газетные сообщения о казни через повешение в Херсоне крестьян «за разбойное нападение на усадьбу землевладельца» [14]. Однако содержание статьи оказалось значительно шире даже весьма острой и важной самой по себе темы о самодержавно-полицейском терроре: это было суровое обвинение всему существовавшему строю. Толстой подчеркнул, что террор был выражением непримиримой вражды царского правительства к представителям «лучшего сословия народа». Говоря о двенадцати казненных крестьянах, писатель продолжал: «...делается это, не переставая годами, над сотнями и тысячами таких же обманутых людей, обманутых теми самыми людьми, которые делают над ними эти страшные дела». Толстой говорит, что двенадцать казненных – это люди, «на доброту, трудолюбию, простоте которых только и держится русская жизнь» и что задушены они «теми самыми людьми, которых они кормят, и одевают, и обстраивают...»

Обличение правящих классов, «высшего сословия», глубоко враждебного народу, составляет пафос всей статьи. С ненавистью говорит Толстой о царском правительстве, которое ввело в систему казни «для достижения своих целей», о том, что «представители христианской власти, руководители, наставники, одобряемые и поощряемые церковными служителями», совершают «величайшие преступления, ложь, предательство, всякого рода мучительство...» Толстой гневно опроверг обычные утверждения царских чиновников и попов о том, что смертные казни – это единственное средство успокоения народа. Обличая правительство, он писал: «Все те гады, которые вы делаете, вы делаете для себя, для своих корыстных, честолюбивых, тщеславных, мстительных личных целей, для того, чтобы самим пожить еще немножко в том развращении, в котором вы живете...»

Как и в других своих статьях, Толстой указывал, что освобождение земельной собственности, передача ее народу является важнейшей задачей, без выполнения которой никакие «усмирения» и «успокоения» невозможны. В ужасах, происходивших в России, Толстой винил весь правительственный аппарат «от секретарей суда до главного министра и царя», – участников «ежедневно совершаемых злодеяний».

Но этот беспощадно-резкий и смелый протест, отражавший настроения народа, совмещался в статье «Не могу молчать» с увещаниями, основанными на религиозно-нравственном учении, увещаниями, обращенными к тем людям, которые покрыли Россию виселицами. «Да, подумайте все вы, от высших до низших участников убийств, подумайте о том, кто вы, и перестаньте делать то, что делаете, – писал Толстой в заключении статьи. – Перестаньте – не для себя, не для своей личности, и не для людей, не для того, чтобы люди перестали осуждать вас, но для своей души, для того бога, который, как вы ни заглушаете его, живет в вас». Однако этому предшествовала критика революционеров с позиций непротivления, то есть критика той единственной силы, которая только и могла смести до основания ненавистный Толстому строй угнетения и рабства.

Определяющей и самой сильной стороной статьи является позиция Толстого-обличителя. В том, что он выступал своей статьей прежде всего в этой роли, свидетельствуют и его собственные признания. «Знаю я, – пишет Толстой, – что все люди – люди, что все мы слабы, что все мы заблуждаемся и что нельзя одному человеку судить другого. Я долго боролся с тем чувством, которое возбуждали и возбуждают во мне виновники этих страшных преступлений, и тем больше, чем выше по общественной лестнице стоят эти люди». И далее следуют знаменательные слова: «Но я не могу и не хочу больше бороться с этим чувством». Толстой признает, что не выступать с обличением людей, совершающих преступления, – все равно что быть участником преступлений, быть в кругу тех людей, которыми порождена «нищета народа, лишенного первого, самого естественного права человеческого, – пользования той землей, на которой он родился». С ненавистью ко всем виновникам народных бедствий, с страстью негодования Толстой восклицал:

«нельзя так жить. Я по крайней мере не могу так жить, не могу и не буду».

И далее он заявлял о своем намерении обличать и бороться против зла, утверждая: «...буду всеми силами распространять то, что пишу, и в России и вне ее...»

Обличительная сила статьи «Не могу молчать» была так велика, что перекрывала места, выразившие слабые, реакционные стороны толстовского учения. Это было очевидно и для сторонников реакции. Статья смогла быть отпечатана в России только нелегально. В Севастополе издатель газеты, напечатавший ее, был арестован, другие газеты штрафовались даже за помещение отдельных отрывков. Апологеты самодержавия реагировали на статью с бешеной злобой, – это выражалось и в письмах, которые приходили в Ясную Поляну. До какого озверения доходили те, против которых было направлено обличение Толстого, свидетельствует следующий факт. В день восьмидесятилетия на его имя пришла посылка с веревкой и письмом такого содержания: «Граф. Ответ на ваше письмо. [15] Не утруждайте правительство, можете сделать это сами, не трудно. Этим доставите благо нашей родине и нашей молодежи».

Характерно, что официозная «Россия» в статье, посвященной «Не могу молчать», утверждала, что Толстой «по всей справедливости» должен бы быть заключенным «в русскую тюрьму», если бы этому не мешала его известность как художника. [16]

Марксистская истина, согласно которой ложные взгляды не могут быть выражены в действительно высокой художественной форме, находит свое подтверждение и в некоторых включенных в 37-й том произведениях. Всюду, где Толстой пишет о реальных процессах, происходивших в самой действительности, всюду, где он изображает реальные поступки людей в типических обстоятельствах, виден величайший художник, автор таких шедевров мировой литературы, как «Война и мир», «Анна Каренина», «Воскресение». И вместе с тем те страницы произведений, которые заняты морализированием и подчинены пропаганде реакционных идей непротivления и самоусовершенствования, носят чисто иллюстративный характер к заранее заданной теме, лишены живописной образности, яркости описаний. Это относится и к таким произведениям, как «Разговор с прохожим», и к статьям. Достаточно сравнить с этой точки зрения темпераментно-страстные, обличительные страницы «Не могу молчать» и стилистически однообразную, не содержащую ни одного яркого образа

Песни на деревне. Лев Николаевич Толстой [tolstoyleo.ru](http://tolstoyleo.ru) статью «Любите друг друга» с ее ложной идеей о том, что «подчиненным и бедным» даже легче «исполнить учение любви», смириться, чем «властвующим, богатым». В произведении «Кто убийцы? Павел Кудряш» самые впечатляющие и горячие строки посвящены описанию того, как зарождалось и развивалось у Павла стремление бороться с окружающей несправедливостью.

В. И. Ленин, так высоко оценивший всемирно-историческое значение Толстого еще при жизни писателя, вместе с тем со всей резкостью писал о вреде толстовской проповеди «одной из самых гнусных вещей, какие только есть на свете, именно религии...», о его стремлении «поставить на место попов по казенной должности, попов по нравственному убеждению», о культивировании «самой утонченной и потому особенно омерзительной поповщины». [17] Отсюда очевиден и реакционный смысл религиозных произведений Толстого. В одном из своих писем к Горькому Ленин разъяснил, почему «всякая религиозная идея, всякая идея о всяком боженьке, всякое кокетничанье даже с боженькой...» – особенно опасно. «Миллион грехов, пакостей, насилий и зараз физических гораздо легче раскрываются толпой и потому гораздо менее опасны, чем тонкая, духовная, приодетая в самые нарядные «идейные» костюмы идея боженьки». [18] В какие бы наряды ни рядилась идея бога, она всегда направлена против научного понимания жизни и ее закономерностей, разоружая человека в его борьбе за изменение действительности, за осуществление в сознательной практической деятельности великих социальных задач.

К чести Толстого, его религиозно-нравственное учение нередко вызывало у него самого мучительные сомнения.

Изучение произведений, писем, Дневников Толстого последних лет его жизни говорит о том, что после революции 1905–1907 гг. он, хотя и сохраняя систему своих взглядов, все же не мог не отразить в какой-то степени сдвиги, произошедшие в крестьянстве. Сомнения и колебания Толстого в истинности своего религиозно-нравственного учения нельзя рассматривать только как противоречия его личной мысли, – такая постановка вопроса противоречит ленинскому подходу к литературе.

К концу жизни Толстой, впадая в еще более разительные противоречия, вместе с тем стал высказывать сомнения в правильности своих рассуждений о «всеобщей любви» и «непротивлении» как способе устранения социального зла. Об этом свидетельствуют многие его признания, сделанные для себя и лишь сравнительно недавно ставшие достоянием читателей. Так, например, в 1909 г., когда Толстой так активно пропагандировал идею «всеобщей любви», он записал в своем Дневнике: «Главное, в чем я ошибся, то, что любовь делает свое дело и теперь в России с казнями, виселицами и пр.». [19] Вопреки своему принципу отрицания революционного насилия, он вынужден был признаться самому себе: «Мучительное чувство... унижения, забитости народа. Простительна жестокость и безумие революционеров». [20] А по поводу своей религии он однажды записал: «Страшно сказать, но что же делать, если это так, а именно, что со всем желанием жить только для души, для бога, перед многими и многими вопросами остаешься в сомнениях, нерешительности». [21]

Все эти трагические раздумья Толстого были вместе с тем отражением тех благотворных сдвигов, которые происходили в сознании русского крестьянства после революции 1905–1907 гг. Еще в середине 1904 г. Толстой заметил, что время, когда народ «хотел обожать и покоряться», уже прошло: «Теперь же народ уже не обожает и не только не хочет покоряться, но хочет свободы». [22] В предисловии к альбому картин Н. Орлова «Русские мужики» Толстой, хотя «...с характерным для худших сторон «толстовщины» сожалением...» [23], но констатировал, что русский народ с удивительной скоростью научился делать революцию. И в самом деле, русский народ, накапливая революционную энергию, учась на опыте 1905 г., шел навстречу великому перевороту, обозначившему новую эпоху всемирной истории. В ходе подготовки к этому перевороту революционная Россия взяла на вооружение наследие Толстого-реалиста и обличителя и, во имя торжества великих идей свободы и справедливости, безоговорочно отвергла и осудила «толстовщину», уходящую в прошлое.

Б. Мейлах

РЕДАКЦИОННЫЕ ПОЯСНЕНИЯ К ТРИДЦАТЬ СЕДЬМОМУ ТОМУ  
Тексты, публикуемые в настоящем томе, печатаются по общепринятой орфографии.

При воспроизведении текстов, не печатавшихся при жизни Толстого (произведения,  
Страница 9

Песни на деревне. Лев Николаевич Толстой tolstoyleo.ru  
окончательно не отделанные, неоконченные, только начатые и черновые тексты),  
соблюдаются следующие правила.

Текст воспроизводится с соблюдением особенностей правописания, которое не унифицируется.

Слова, случайно не написанные, если отсутствие их затрудняет понимание текста, печатаются в прямых скобках.

В местоимении «что» над «о» ставится знак ударения в тех случаях, когда без этого было бы затруднено понимание текста.

Условные сокращения типа «к-ый», вместо «который», и слова, написанные неполностью, воспроизводятся полностью, причем дополняемые буквы ставятся в прямых скобках лишь в тех случаях, когда редактор сомневается в прочтении.

Описки (пропуски букв, перестановки букв, замены одной буквы другой) не воспроизводятся и не оговариваются в сносках, кроме тех случаев, когда редактор сомневается, является ли данное написание опиской.

Слова, написанные ошибочно дважды, воспроизводятся один раз, но это всякий раз оговаривается в сноске.

После слов, в прочтении которых редактор сомневается, ставится знак вопроса в прямых скобках.

На месте неразобранных слов ставится: [1, 2, 3 и т. д. неразобр.], где цифры обозначают количество неразобранных слов.

Из зачеркнутого в рукописи воспроизводится (в сноске) лишь то, что имеет существенное значение.

Более или менее значительные по размерам зачеркнутые места (в отдельных случаях и слова) воспроизводятся в тексте в ломаных < > скобках.

Авторские скобки обозначены круглыми скобками.

Примечания и переводы иностранных слов и выражений, принадлежащие Толстому, печатаются в сносках (петитом) без скобок. Редакторские переводы иностранных слов и выражений печатаются в прямых скобках.

Обозначение \* как при названиях произведений, так и при номерах вариантов означает, что текст печатается впервые; \*\* – что текст напечатан был впервые после смерти Толстого.

Иллюстрации

фототипия с портрета Л. Н. Толстого 1908 г. между стр. IV и V.

Примечания

1

Зачеркнуто: толпе

2

Зач.: дом

3

Исправлено из: внука

4

Зачеркнуто: простого

5

Первоначально было: Третий был низенький человек, особенно хорошо одетый.

6

Зачеркнуто: певцу

7

Более подробную характеристику взглядов Л. Н. Толстого в последние годы его жизни см. в предисловии к тому 77 настоящего издания.

8

В. И. Ленин. Сочинения, т. 15, стр. 185.

9

«Россия», 30 июля 1908 г., № 823.

10

Т. 54, стр. 52.

11

Т. 84, стр. 128.

12

В. И. Ленин. Сочинения, т.15, стр. 180.

13

В. И. Ленин. Сочинения, т. 16, стр. 295.

14

См. запись в Дневнике 12 мая 1908 г.

15

«Письмом» названо «Не могу молчать», где Толстой, в порыве негодования и скорби, писал о том, что он хотел бы заключения в тюрьму и готов разделить участь повешенных крестьян.

16

«Точка над і». «Россия», 30 июля 1908 г., № 823.

17

В. И. Ленин. Сочинения, т. 15, стр. 180.

18

В. И. Ленин. Сочинения, т. 35, стр. 90.

19

Т. 57, стр. 200.

20

Т. 57, стр. 82.

21

Т. 58, стр. 65.

Песни на деревне. Лев Николаевич Толстой [tolstoyleo.ru](http://tolstoyleo.ru)

22

Т. 55, стр. 62.

23 Слова Ленина об этом предисловии (см. В. И. Ленин. Сочинения, т. 17, стр. 251).

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке

<http://tolstoyleo.ru/> Приятного чтения!

<http://buckshee.petimer.ru/> Форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.

<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин

<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.

<http://filosoff.org/> Философия, философы мира, философские течения. Биография

<http://dostoevskiyfyodor.ru/>

сайт <http://petimer.com/> Приятного чтения!